

A woman with her hair in a bun, wearing a backless, patterned dress, stands in a field at sunset. A hand is placed on her waist from the right. The background is a golden sunset over a field.

ПОГЛАДЬ
МОЮ
ШКУРУ

ЯРОСЛАВНА
КРЮКОВА

18+

Ярославна Крюкова

Погладь мою шкуру

<https://litres.ru/74085391>

SelfPub; 2026

Аннотация

Жара ударила ещё на трапе самолёта. Не температура — память, которая решила, что забыта.

Ева приехала за землёй. Двенадцать лет она входит в проблемные активы и находит в них то, что другие списали. На этот раз — тысяча с лишним гектаров кубанского чернозёма в глубочайшем дистрессе. Контракт как контракт. Пока она не берёт в руку горсть земли — и не понимает: эта живая.

Казаки встречают её чаркой — по-своему, без расспросов — и предупреждением: чужим рукам сюда нельзя. Виноградарь Матвей Воронин два года не продаёт свои четыреста пятьдесят гектаров — для него лоза не актив, а разговор без слов через три поколения. Он первым не просит её стать меньше.

Поджоги. Переговоры с теми, кто стреляет раньше, чем спрашивает. Борьба с инвестором — не за прибыль, а за право довести дело по совести. И рядом — вкус домашнего вина, запах земли, южные рассветы.

Двадцать лет она училась быть тише, чем была на самом деле. Здесь ей впервые было позволено говорить в полный голос.

Ярославна Крюкова

Погладь мою шкуру

Глава 1. Прилёт

Жара ударила еще на трапе самолета.

Не температура — давление. Как будто кто-то большой встал вплотную и дышал прямо в лицо. Тридцать восемь. Краснодар, середина мая.

Ева остановилась на секунду. Лёгкие сделали вдох — глубокий, незапланированный. И вот тут что-то случилось.

Запах.

Не аэропортовый — керосин, резина, разогретый бетон. Под этим всем — что-то живое. Земля, разогретая до состояния, когда она начинает отдавать тепло обратно в воздух. Чернозём. Влажный, тёплый, с той сладостью перегноя, которую не делают в лабораториях.

Она узнала его.

Не памятью — памяти здесь не было, это было давно и далеко, и она давно решила, что это не важно. Что-то под рёбрами узнало. Коротко, без слов — как узнают вещи, которые сидят глубже слов.

Она сделала ещё один вдох. Потом убрала телефон в карман и пошла вниз по трапу.

Артём ждал — молодой, в костюме, с мокрыми пятнами под мышками, с тем выражением человека, который стара-

ется выглядеть уверенно.

— Ева Андреевна, гостиница забронирована—

— В Крымский район. Сразу.

Артём моргнул.

— Там сейчас сложно. Казаки. Банкротные активы. Земля хорошая, но они считают её своей. Говорят — здесь лоза растёт, как нигде. Не продают.

— Значит, надо понять, чего они на самом деле хотят. Это обычно не то, что говорят.

Land Cruiser у выхода был старым, грязным по пороги, с кунгом. Рабочая машина. Водитель Витёк — крупный, молчаливый. Оба понравились.

Она открыла планшет. Три землевладения в банкротстве. Долги по воде. Залоги, судебные производства, которые тянулись годами — потому что здесь так: люди умирают, долги остаются, земля ждёт. 730 гектаров, которые никто не может купить нормально. Нормально — прийти, предложить рыночную цену, получить согласие. Здесь нормально не работало.

За окном тянулись поля.

Подсолнечник ещё не цвёл — стоял зелёными плотными шеренгами, военный, ровный. Пшеница золотела. Кукуруза только пошла в рост. Земля здесь не отдыхала — работала посменно, с той деловитостью, которую она привыкла уважать в людях и редко встречала в местах.

Потом появились виноградники.

Часть живые — ровные ряды, листья на солнце почти прозрачные. Часть брошенные — покосившиеся шпалеры, бурьян, узловатое серое дерево. Брошенные выглядели не мёртвыми. Обиженными. Как выглядят люди, которых не убили, а просто перестали замечать — что почти одно и то же, только медленнее.

Она смотрела на них и думала не про контракт.

Думала про то, что за каждым из этих кустов — чья-то история. Человек, который сажал. Человек, который перестал. Промежуток между ними — годы, долги, смерть, отъезд. Всё то, от чего земля не умеет защититься.

Телефон завибрировал. Сообщение от инвестора.

«1140 га под ключ. Гонорар успеха — двенадцать процентов. Ева, ты единственная, кто возьмёт это и закроет.»

Цифры она запомнила с первого раза. Перечитала из-за «единственная». Знала, что это стиль, что он пишет так каждому. Всё равно — что-то внутри каждый раз слышало это слово отдельно от остального текста.

Убрала телефон.

Дорога шла через станицы. Низкие дома с виноградом на заборах — настоящим, густым, лезущим на крышу. Розы в палисадниках — тёмно-красные, крупные, с той южной неприличностью в размере, которая бывает, когда что-то растёт без ограничений. Дети на улице — смуглые уже в мае, привычные к солнцу.

Здесь живут люди, у которых земля не абстракция, думала

она. Земля — то, что кормит. То, за что дерутся. То, за что умирают без пафоса.

Она их понимала технически. Изнутри — нет. Или думала, что нет.

Запах чернозёма снова пришёл в окно — слабее теперь, смешанный с пылью и бензином. Но пришёл. И что-то под рёбрами снова коротко откликнулось — без слов, без объяснения, без её разрешения.

Она закрыла вкладку с залогами. Открыла следующую.

С долгами было понятно. Долги она умела читать. С остальным — пока нет.

Она приехала в восемь утра. Дорога от трассы — грунтовая, пыльная, колеи от трактора. Машина шла медленно. Водитель молчал — местный, нанятый через агентство, знал, что московские не любят разговоров с утра.

Она смотрела в окно.

Поля по обеим сторонам — подсолнечник ещё не цвёл, стоял плотными зелёными рядами. Пшеница золотела. Кукуруза только пошла в рост. Земля здесь работала без пауз — посменно, с той деловитостью, которую она привыкла уважать в людях и редко встречала в местах.

Это она отметила первым. Земля деловая.

Объект она читала по документам три недели. Знала цифры наизусть — 730 гектаров общей площади, из них 340 под виноградником, остальное — пашня, лес, неудобья. Те са-

мые три землевладения, что она просматривала в планшете по дороге из аэропорта. Обременения, долги, история смены собственников. Стандартный дистресс — три предыдущих владельца, два банкротства, одно уголовное дело, закрытое за сроком давности. Она таких видела десятки.

Документы говорили: сложно, но можно.

Она приехала проверить — живое или нет. Это было её главное умение. То, чему нельзя научить по книгам. Она входила в место — и чувствовала. Не мистика. Просто опыт настолько глубокий что перестал быть сознательным.

Машина остановилась у ворот.

Она вышла. Жара ударила сразу — не московская влажная, а сухая, плотная, южная. Другой воздух. Пахло землёй, нагретой травой, чем-то цветущим в стороне.

Она постояла.

Открыла планшет. Посмотрела на карту участка. Посмотрела на то, что перед ней — забор, ворота, виноградник за ними уходящий на склон. Потом убрала планшет.

Пошла вдоль забора. Не через ворота — сначала снаружи, по периметру. Это была её привычка. Сначала — обойти. Посмотреть, как объект выглядит сам по себе, не изнутри, не в документах. Как он стоит в пространстве. Как к нему подходят дороги. Как смотрят соседи.

Соседний участок — заброшенный, бурьян по пояс. Значит здесь не всё одинаково хорошо. Дальше — чьё-то поле, ухоженное, межа чёткая. Значит есть люди, которые умеют.

Дорога с севера — разбитая, с юга — лучше. Значит основное движение с юга.

Всё это она считывала, не думая — просто шла и видела. У западного угла остановилась.

Земля здесь была другой. Она это почувствовала через подошвы — не мягче, не тверже, просто другой. Она присела. Взяла горсть — рассыпчатая, тёмная, почти чёрная, влажная в глубине несмотря на жару. Хорошая земля. Очень хорошая.

Она подержала её в ладони.

Двенадцать лет она работала с дистрессом. Умела видеть потенциал там, где другие видели только долги и руины. Но земля — это была другая история. Земля не врала. Актив мог врать — в документах, в показателях, в словах продавца. Земля — никогда. Она просто была такой какой была.

Эта была хорошей.

Она встала. Отряхнула руки. Посмотрела на виноградник — на склон, на лозы, на то, как они стоят. Ровно. Кто-то следил. Кто-то здесь работал и работает, несмотря на банкротства и уголовные дела.

Это был сигнал. Важный.

Она открыла планшет. Сделала пометку — три слова: земля живая, смотреть.

Потом пошла к воротам.

Где-то внутри что-то уже начало решаться — тихо, без слов, на том уровне, где решения принимаются раньше, чем

их осознаёшь. Она это знала. Знала, что уже почти да. Но не торопилась. Ещё надо было смотреть.

Ещё надо было встретить того, кто здесь работает.

Глава 2. Первая кровь

Ночью прошёл дождь.

Кубанский чернозём после дождя — это не просто грязь. Это живое, тёплое вещество, которое берёт твою подошву и держит. Не отпускает — именно держит, с той спокойной настойчивостью, с которой держат только вещи, у которых есть на это право. Земля здесь всегда задаёт вопросы. Ты пришёл с намерением или случайно. Ты свой или нет.

Утро было влажным и горячим одновременно. Воздух не успел просохнуть после ночи, а солнце уже работало в полную силу. Запах стоял густой: мокрая земля, молодые листья, откуда-то дым — то ли печь в станице, то ли ветер принёс с поля.

У старого трактора стояли пятеро казаков.

В камуфляже, в сапогах с той же глиной по голенищам, что уже была у неё. Высокие, широкоплечие. Не угрожающие — просто занимавшие пространство иначе, чем городские люди. Больше. Как будто им с детства полагалось больше места, и они привыкли его брать, и никто давно не просил умерить.

Старший был седым. Шрам через бровь. Голос без злости — тем особым голосом, которым говорят люди, которым незачем злиться.

— Ну что, москвичка. Приехала землю нашу смотреть?

Ева остановилась в двух шагах. Не ближе, не дальше. Дистанция — тоже язык.

— Не смотреть. Оценивать. Покупать — если сойдёмся.

Казачки переглянулись. Не насмешка — оценка. Как смотрят на незнакому лошадь: хороша или нет, выносит или нет, стоит ли тратить время.

Старший кивнул. Один достал из рюкзака металлические чарки — старые, с крестами, с той чернотой на металле, которая не от грязи, а от времени. Разлил прямо на капоте. Без объяснений. Ритуал, который существовал раньше всех, кто здесь стоит.

— По-нашему. Гостю — чарка первой, без вопросов.

Ева взяла чарку последней. Подержала секунду. Металл был тёплым — не от солнца, от предыдущих рук. Вино — тёплое, терпкое, с той концентрацией, которая бывает, когда в напитке земля конкретного места, конкретного человека, конкретного решения. Не технология.

Седой поднял чарку.

— За дедов, что эту лозу сажали. За землю-кормилицу. За шашку, что всегда на боку. И за то, чтоб чужие руки не трогали того, что кровью полито.

Последнее — в её сторону. Без агрессии. Просто условие, поставленное открыто. Уважение в форме предупреждения.

Она выпила. Вино обожгло горло — не от крепости, от плотности. От того, сколько в нём было всего. Лет. Земли.

Людей, которые держали это двумя руками.

Она поставила чарку на капот. Звук вышел чётким.

— Хорошее вино. Но земля будет работать по-другому. Шпалеры. Капельное орошение. Федеральный контракт. 1140 гектаров.

Казак молчал. Под кожей ходили челюсти — не от злобы, от усилия. Нельзя сказать всё, что думаешь. Потеряешь позицию.

Она знала это усилие. Сама делала его каждый день.

— Это не просто земля, — произнёс седой. — Традиция. Каждая лоза — под казачьей рукой. Вино делаем не для магазинов. Для свадьбы, для похорон, для Бога.

— Я хочу исполнить контракт. 280 гектаров — первые. Тридцать процентов выше рынка. Долги закрываю сегодня. Пристав уходит. Пять гектаров под собственную лозу — навсегда, прописываю в договоре.

Молодой казак с татуировкой на шее шагнул ближе. Что-то в животе сжалось — коротко, точно. Не страх. Сигнал. Тело получало информацию своими способами, отдельно от головы.

— А если не продадим? Если «крыша» скажет «нет»?

Ева повернулась к нему медленно.

Он был злой по-настоящему — не напоказ. За этой злостью стоял страх. Она умела их различать — после сотен переговорных комнат поняла: злость почти всегда страх, нашедший более удобную форму. Страх потерять. Страх ока-

заться тем, кто не смог защитить.

— Тогда выкупим через приставов по рынку. Или в банкротстве — за бесценок. Я здесь не просить. Дать вам возможность выйти с достоинством.

— Красивая ты. И смелая, — усмехнулся седой. — Только здесь красота быстро заканчивается. Тут кровь другая. Кажья.

Ева шагнула к нему ближе. Так, что он почувствовал её духи под запахом пота и поля. Несоответствие выбивало из заготовленной реакции — она это знала.

— Традиции слышала. Теперь цифры. Семнадцать миллионов долга. Два исполнительных производства. Суд через шесть недель. Ваши дети унаследуют долг, не землю.

Развернулась. Пошла к машине.

Грязь тянула сапоги — плотно, с той же настойчивостью, с которой это место держало всё, что в него входило. Она шла, не оглядываясь. Спина прямая.

Артём догнал у машины.

— Они же реально могут.

— Могут. Долг от этого меньше не станет.

Она села. Кондиционер ударил холодом по мокрой рубашке — резко. Кожа отреагировала раньше мысли: мурашки по плечам, по шее. Тело всё ещё было там, на поле. Голова уже открывала планшет.

Старший — достоинство, традиция. Младший — страх. Разные переговорные позиции. Нужно разделить их, гово-

ритель с каждым на его языке.

Машина тронулась. Витёк молчал.

За окном жара поднималась над асфальтом. Она смотрела в планшет и думала про то, как седой держал чарку. Двумя руками. Как держат то, что нельзя уронить — не потому, что дорого стоит, а потому что, если уронишь, что-то в тебе самом надломится.

Здесь всё держали двумя руками. Землю, вино, обиду.

Цифры умещались в одну.

Глава 3. Ночь без коробочки

Гостиница «Кубань» пахла чужим бытом и дешёвым кондиционером.

Номер стандарт, восьмой этаж. Именно такой она всегда выбирала: не люкс — незачем платить за то, что не используешь. Не первый — шум. Восьмой достаточно высоко, чтобы тихо, достаточно низко, чтобы уйти быстро. Привычка человека, который долго работал там, где ситуация менялась.

Дверь закрылась с тяжёлым щелчком.

Она сбросила рюкзак. Стянула рубашку — ткань задубела от пота и пыли, отошла с усилием. Первый день на юге всегда так. Москва держала тело в одном режиме — сухом, кондиционированном, без этой плотности воздуха, который здесь давил со всех сторон и требовал чего-то. Чего именно — она пока не называла.

Под горячим душем стояла долго. Зажмурилась.

В голове крутились цифры. Потом лица. Потом снова

цифры. Цифры она умела удерживать — стояли смиренно, ждали. Лица не умела: они приходили и уходили по своим правилам. Седой с чаркой двумя руками. Молодой с татуировкой и страхом за злостью. И что-то ещё, чему она не успела дать имя — запах на трапе, короткий отклик под рёбрами. Это тоже крутилось. Тоже не уходило.

Выключила воду.

Влажная кожа почувствовала прохладу кондиционера — резко, почти болезненно. Надела майку. Взяла планшет. Легла.

Потолок был белым и ровным.

Москва приучила к таким потолкам — без трещин, без истории, без чужих ночей в штукатурке. Принципиальное отсутствие личности. Она всегда выбирала такие — ничего лишнего, только то, что сама принесла.

Сейчас это почему-то не успокаивало.

За окном гудел город. Мотоцикл далеко, тишина, снова мотоцикл. А потом — то, чего не бывает в Москве: голоса с улицы, громкие, без стеснения. Потом смех. Настоящий — из живота, телесный, такой, что хочется обернуться и посмотреть, кто это позволяет себе так.

Она не обернулась. Лежала и слушала.

И думала.

Ей было восемь лет, и она бежала по двору — босиком, в платье, с криком — просто, потому что хотелось бежать и кричать. Соседка сказала матери: ваша девочка неуправля-

емая. Мать сказала ей вечером: надо быть тише. Она не поняла зачем. Но стала тише. Немного.

Ей было пятнадцать, и она спорила с учителем — громко, уверенно, с фактами. Учитель сказал: слишком энергичная. Как будто энергия была болезнью. Как будто её надо было лечить.

Ей было двадцать два, и первый серьёзный мужчина сказал после трёх месяцев: ты меня подавляешь. Она не понимала как. Она просто была собой. Но убрала часть себя — аккуратно, методично, как убирают лишнее с рабочего стола.

Потом ещё часть. Потом ещё.

Москва помогала. Москва любила сдержанных. Москва уважала тех, кто умеет держать форму — на переговорах, на встречах, на ужинах. Она научилась. Стала именно такой — точной, профессиональной, без лишнего. Говорила ровно. Смеялась правильно. Занимала ровно столько пространства, сколько было прилично.

Это работало. Её слышали. Её уважали. Её звали на сложные проекты.

На простые ужины не звали. Но это другое.

Она лежала и думала про это — не в первый раз, но здесь, на юге, в этой гостинице с чужим бытом, с этим смехом за окном — думала иначе. Не привычным образом, когда анализируешь и делаешь выводы. А как-то снизу — из того места, которое не анализирует, а просто знает.

Она была дракон.

Это слово пришло само — без разрешения, без логики. Просто — дракон. Созданная из лавы, из огня, из той южной крови, которая горит иначе — горячее, ярче, дольше. В ней было что-то такое — она чувствовала это всегда, с детства. Что-то, что могло испепелить. Что-то, от чего люди отступали — не потому, что она делала что-то плохое, а просто потому, что это было слишком.

Слишком энергичная.

Слишком громкая.

Слишком много.

Она двадцать лет учила дракона сидеть тихо. Двадцать лет говорила ему: не сейчас. Не здесь. Не так громко. Свернись. Стань меньше. Не пугай.

Дракон слушался — внешне. Надевал офисный костюм. Говорил правильными словами. Держал дистанцию. Улыбался нужно.

Но внутри — горел. Всегда горел. Просто никто не видел.

За окном засмеялись снова — те же голоса, ещё громче. Она лежала и слушала. И думала про то, что здесь, на юге, её много — и это уместно. Здесь люди громкие и страстные и занимают пространство без извинений. Здесь никто не просит убавить. Здесь это — норма. Здесь это — жизнь.

Здесь дракон мог бы дышать.

Написала инвестору: «День первый прошёл. Завтра закрываю первые 280 га. Работаю по-настоящему.»

Отправила. Убрала телефон.

Она убрала мысль про дракона — привычным движением, в ту же папку.

Мысль легла туда иначе. С объёмом. Как будто папка стала меньше, а содержимое — нет.

Последняя мысль пришла неожиданно — не из цифр, не из переговоров. Из того места, куда цифры не добираются: она не помнит, когда последний раз чувствовала, что приехала куда надо. Не на объект. Куда надо. Туда, где воздух другой — и где можно быть громче, чем разрешено.

Мысль не оформилась до конца.

Она заснула — с этим смехом за окном, с этим белым потолком над собой, и с чем-то тёмным и тёплым, что поднималось снизу, из земли, из давно закрытого места внутри неё, куда раньше было незачем смотреть.

Глава 4. Поле и грязь

Внедорожник рычал.

Дорога закончилась пять километров назад — осталась колея, глубокая, чёрная, с вчерашним дождём на дне. Витёк вёл молча, аккуратно. Машина проваливалась по оси, но шла.

— Дальше пешком не пройти. Только на этом танке.

Ева кивнула. Закатала рукава.

Рубашка уже промокла насквозь — не от усилия, от воздуха. Воздух здесь был другим: плотным, живым, пахнущим. В Москве тепло не пахнет ничем — кондиционированное, городское, мёртвое в этом смысле. Здесь каждый метр пах

— землёй, листьями, влагой, цветением чего-то невидимого. Она вдыхала его и чувствовала, как что-то в теле каждый раз чуть откликалось. Не мыслью. Просто — откликалось.

Машина вырвалась на открытое поле.

Старые казачьи виноградники — кривые, живые, с узловатыми стволами, которые росли не по линейке, а так, как хотели. Некоторым лозам было по сорок лет. Это читалось по стволу, по тому, как корни держали землю — не вцепившись, а вросши. Шпалеры деревянные, часть сгнила. Но лоза жила. Упрямо, без красоты, с тем особым достоинством вещей, которые выжили не потому, что им помогли.

Она вышла из машины.

Чернозём взял подошву сразу — плотно, влажно, с тёплым сопротивлением. Она стояла секунду. Просто стояла, чувствовала, как земля держит. Потом пошла к людям.

В десяти метрах работали. Трое мужчин и женщина — руки в земле, колени тоже, без разговоров. Так работают, когда дело привычное и слова ничего не прибавляют к нему.

— Добрый день.

Женщина выпрямилась. Лицо загорелое — не курортным загаром, а тем, что накапливается годами под открытым небом. Руки в крови — не от ранения, от работы с лозой. Это разная кровь. Глаза прямые, без городской уклончивости, без привычки смотреть чуть мимо, оставляя себе выход.

— День добрый, если ты не москвичка.

— По всей видимости, не очень добрый.

Мужчина с лопатой воткнул её в землю и сплюнул. Не глядя. Без расчёта на впечатление.

Двести восемьдесят гектаров. Местная вода, местная рабочая сила — экономия сорок процентов. Местные знания, которых не купишь в городе. Это было в голове, в нужном порядке. И рядом — отдельно, не вместо — запах этой земли. Который был чем-то большим, чем запах. Который задевал что-то без названия.

— Я не собираюсь уничтожать вашу лозу. Я хочу, чтобы она приносила деньги.

Женщина засмеялась. Горько — не к ней, к ситуации.

— Деньги. Мы вино делаем не за деньги. Для сына — когда женится. Для отца — когда помрёт. А ты хочешь в бутылки по пятьсот рублей в супермаркет.

Вытерла руки о фартук. Спросила — без насмешки, просто как спрашивают о погоде:

— Ты замужем?

Ева не ответила сразу. Эта женщина спрашивала иначе. Не чтобы осудить — чтобы понять, кто перед ней. Это разные вопросы с одинаковыми словами.

— Нет.

— Дети?

— Нет.

Женщина кивнула. Не осудила — просто приняла. Как принимают данные. Осуждение бывает, когда от тебя ждали другого. Эта, кажется, ничего не ждала.

— Тогда ты не знаешь, зачем делают вино. Ещё узнаешь, может.

Вернулась к работе. Спина прямая — без напряжения людей, которые хотят, чтобы их услышали. Сказала — и всё. Остальное не её дело.

Ева смотрела ей в спину.

«Тогда ты не знаешь, зачем делают вино». Не оскорбление. Правда, сказанная человеком, которому незачем врать. Такая правда оседает иначе — попадает, а не задевает. Она не стала с ней ничего делать. Просто осела. Легла рядом с тем запахом на трапе, с инициалами на бочках, с чем-то ещё, что она пока не называла.

— Завтра пригоним технику. Начинаем. Хотите работать — по рыночной ставке плюс премия. Не хотите — найду других.

— Ева Андреевна, — Витёк кашлянул за спиной. — Может, поедем?

— Нет. Остаюсь до вечера.

Она сняла рубашку прямо на поле. Осталась в майке. Взяла лопату у мужчины — он смотрел как на сумасшедшую, не возразил.

— Покажите, как копаете под воду. По-вашему.

Он взял вторую лопату. Встал рядом. Показал — не словами, движением. Так учат вещи, которые словами не передаются.

Они копали. Грязь летела на руки, на живот. Солнце жгло

плечи — ровно, без пауз, без снисхождения. Пот шёл сразу. На юге тело не делает вид, что усилий нет — всё телесно, честно, без посредников. Это было неожиданно хорошо. Эта честность.

Казак молчал рядом. Только что смотрел враждебно — теперь просто копал.

Лопата входила в землю с тяжёлым насыщенным звуком — не скрипела, открывалась. Она думала про 280 гектаров, экономию сорок процентов, срок до суда. И рядом, параллельно, не вытесняя — запах разрытой земли. Что-то из-под профессии. Что-то, что было в ней раньше — до Москвы, до контрактов, до того, как она стала тем, кем стала.

Это было непрофессионально.

Она продолжала копать.

К вечеру руки чёрные до локтей. Спина ноет — честно, телесно. Майка насквозь. Солнце уходило медленно — закаты здесь длинные, не московские. Небо горело оранжевым, потом алым, потом золотая полоса над холмом держалась дольше, чем казалось возможным. Виноградник в этом свете был красивым. Даже покосившиеся шпалеры. Даже бурьян.

Она поймала себя на этой мысли. Не убрала.

Женщина подошла под конец. Протянула воду — пластиковая бутылка, тёплая.

— Пей.

Ева взяла. Выпила половину. Горло было сухим — только сейчас поняла. Всё время работала и не замечала. Тело уме-

ло работать, когда ему давали.

— Спасибо.

Женщина смотрела на неё — пересматривала.

— Ты не такая, как они обычно приезжают. Те приезжают в чистом.

Не комплимент, не осуждение. Просто факт.

Ева не ответила. Смотрела на поле — на то, что успели. Немного. Но правильно. Это было другое слово, чем «достаточно».

Ехала обратно в темноте. За окном огни станицы — редкие, тёплые, как угли. Там ели, говорили громко, смеялись. Держали двумя руками то, что было дорого.

Её руки были чёрными. Она смотрела на них в темноте машины.

Не стала прятать.

Глава 5. Первая большая покупка

Администрация старой казачьей станицы пахла пылью, старым линолеумом и — неожиданно — вином.

Не из бутылки. Как запах, который пропитывает стены, когда его много и давно — когда вино здесь не гость, а часть воздуха. Портрет Кубанского казачьего войска на стене. Шашка в ножнах — настоящая. Грамота в рамке висела чуть косо, и никто не поправлял. Привыкли. Или решили, что так честнее.

Никто не предложил ей сесть.

Она вошла прямо с поля. Грязные джинсы, чёрный топ,

руки ещё в земле. Не отмывала — пусть видят. Она там была.

Седой налил — привычным жестом тысячного раза. Без торжественности.

— Гостье — первой. Пей.

Выпила. Поставила.

— Двести восемьдесят гектаров. Тридцать процентов выше рынка. Долги закрываю сегодня. Деньги уже переведены.

Седой смотрел на неё долго. В комнате было тихо — вентилятор под потолком гудел ровно, советский ещё, с металлическими лопастями. За окном: жара, улица, чьи-то голоса вдалеке, петух откуда-то. Обычная жизнь снаружи. Здесь внутри — тишина другого сорта.

— Когда мой старший сын родился, я поставил бочку в погреб. Двадцать восемь лет выдерживал. Сегодня он женится. Вот что это для меня. Чтобы понять, что я теряю — сначала надо понять это.

Она слушала. Не перебивала. Это было не риторикой — условием. Он хотел, чтобы она поняла до того, как ответит. Проверял не её аргументы. Её.

Один из сыновей ударил кулаком по столу.

— Мы не продадим. Ни за какие деньги. Здесь каждая лоза под казачьей рукой.

Она посмотрела на него — и в эту секунду сделала ошибку. Решила, что он слабее отца. Обратилась к нему. Мимо седого.

— Ты понимаешь, что через месяц здесь будут приставы?

Сын поднял голову. В глазах не было страха. Была злость — та, за которой стоит что-то очень дорогое.

— Ты только что обратилась к сыну, не к отцу. При нотариусе.

Воздух изменился. Физически — как будто давление упало. Седой выпрямился. Нотариус отложил ручку. Не театр — она переступила черту, которую не увидела. Черту, которая существовала задолго до неё.

Внутри — холодное, острое: ошибка. Настоящая. Ты смотрела на сына и не видела отца. Здесь молодость — не слабость. Здесь молодость — продолжение. Ты этого не учла.

Пауза. Она взяла чарку. Медленно поставила обратно. Не выигрывала время — ждала, пока слова станут точными.

— Прошу прощения. Я обращаюсь к вам. — Посмотрела на седого. — Только к вам.

Тишина. Долгая. Вентилятор гудел.

Потом он чуть кивнул.

Она наклонилась вперёд. Положила ладони на стол — с землёй, с тёмной коркой. Не спрятала. Это тоже аргумент.

— Я знаю про родительское вино. Про двадцать восемь лет ожидания. Это не выдержка — это время, вложенное без гарантий. Но если я ухожу сегодня, приставы приходят через неделю. Вы продадите не мне. Вы продадите тому, кому всё равно. Кому всё равно про бочку.

Пауза.

— Я предлагаю вам сохранить честь. Пять гектаров — ва-

ши навсегда. Право делать вино для семьи — нотариально, отдельным пунктом. Это останется.

— Один час. Или сейчас. Или я уйду.

Тишина стала плотной. Та, которую хочется заполнить хоть чем-то. Она не заполняла.

Седой посмотрел на сыновей. Разговор случился без слов — в движении плеч, в том, как один из сыновей чуть опустил голову. Один язык на троих, выработанный годами.

Он взял ручку.

— Ты жестокая, — сказал тихо. — Но говоришь правду. Это я уважаю.

Подписал.

Она смотрела на его руку. Старую — с утолщёнными суставами не от возраста, от работы. Рука, которая всю жизнь что-то делала сама. Держала двумя руками то, что держала.

Кольнуло что-то — не жалость. Ближе к тому, что чувствуешь, когда сломал нечаянно и уже не починишь. Не горе. Просто — знаешь. Она умела с этим жить. Умела его держать, не убирая.

Телефон. Звонок бухгалтеру. Деньги ушли мгновенно.

— Деньги на вашем счёте. Приставы вас больше не побеспокоят.

Вышла на крыльцо. Жара снаружи — плотная, без тени. Пришло сообщение от инвестора: «Первые 280 га закрыты. Ты зверь, Ева.»

Она стояла на крыльце.

«Ты зверь». Раньше принимала как профессиональный комплимент — понятный, правильный. Сейчас слово прозвучало иначе. Может, потому что третий день пахло землёй. Может, потому что только что смотрела на чужую руку с ручкой и держала внутри что-то, чему не было имени.

Витёк ждал у машины.

— Минуту.

Осталась стоять. Думала о том мальчике, которым он когда-то был — этот человек с усталой рукой. Поле до горизонта. Земля своя. Ощущение, что так будет всегда. Она провела здесь трое суток и уже забирает кусок этого всегда.

Она знала, что сделала правильно. Для земли — правильно. Земля не умеет ждать, пока у людей найдутся деньги. Он сам это знал. Иначе не подписал бы.

Кольцо в груди от этого не стало меньше. Она не стала его убирать.

Пошла к машине. Грязь на сапогах. Солнце в лицо. Впереди — следующий участок, следующие переговоры, следующая чарка с кем-то, кто ещё не знает, что она уже здесь.

Южные птицы кричали. Без вежливости. Просто — потому что могли.

Глава 6. Охота

Приглашение пришло утром, когда она ещё отмывала землю под краном.

Сообщение от седого — короткое, без предисловий:

«Сегодня охота. Для уважения. Пожелаешь — приедь. Не

пожелаешь — поймём.»

Она смотрела на экран. Артём уже написал три сообщения про второй участок, юриста из Москвы, встречу которую нужно подтвердить. Всё правильное, всё нужное.

Ответила седому: «Буду».

Убрала телефон. Не стала объяснять себе почему. Некоторые решения принимаются до того, как голова успевает вступить в разговор.

На поляне у старого дуба ждали шестеро. Седой, два сына, ещё трое — крепкие, загорелые, в камуфляже. У ног две охотничьи собаки, короткошёрстные, рыжеватые. Они не лаяли. Просто стояли и ждали — с тем особым вниманием в глазах, которое бывает у животных, когда они чувствуют: сейчас начнётся что-то настоящее. Она им позавидовала. Просто знают — и всё.

Утро было синим. На юге первый час после рассвета всегда такой — синий и прохладный, до того, как солнце наберёт силу. Воздух пах росой, хвоей от лесополосы, чем-то ранним, что существует только в этот час и потом исчезает.

— Охота — это не для баб, — сказал седой. — Но ты показала характер. Сегодня посмотрим, чего ты стоишь по-нашему.

Она взяла карабин — тяжёлый «Сайга», потёртый, с насечкой на прикладе. Проверила затвор. Был проект в Сибири, был охотник, три дня. Она умела учиться быстро.

— Я здесь не смотреть. Участвовать.

Пошли вглубь лесополосы.

Она шла последней — так правильно на чужой территории. Смотреть. Понимать, как движутся те, кто знает место. Казаки шли бесшумно — не как в кино, а практично, без лишних движений. Тела знали этот лес. Знали, где трещит ветка, где пригнуться, где тропа сворачивает без предупреждения. Это не было навыком в обычном смысле. Передано — через годы, через руки, через то, как отец ведёт сына по одной и той же тропе, пока тропа не становится частью тела.

Она шла и думала: вот что значит знать место по-настоящему. Не по карте. Телом.

Первого кабана взяли быстро. Выстрел впереди, потом тишина. Когда она вышла на поляну, зверь уже лежал на боку. Крупный, тёмный, с клыками. Запах крови — острый, металлический, сразу и везде. Она ожидала, что будет хуже. Оказалось — просто другой. Не страшный. Другой запах, который тело запоминает отдельно от слов, в другом месте.

Сын протянул нож — рукоятью вперёд, без слова.

— Разделять будешь?

Она взяла нож. Опустилась на колени в грязь, в траву. Руки вошли в тёплое.

Кровь была горячей — обожгла пальцы сразу, неожиданно. Она замерла на секунду. Не отёрнула рук, не сказала ничего. Просто замерла. Казак рядом заметил. Промолчал. Правильно.

Мелькнуло — быстро, отдельно от всего остального: у

каждого зверя есть шкура. То, что видно снаружи, и то, что внутри. Снаружи — зверь. Внутри — тепло, кровь, жизнь, которая только что закончилась. И ты узнаёшь о втором только когдаходишь. Только когда руки уже там.

Она убрала мысль. Начала резать.

Сначала медленнее, чем хотела. Потом точнее — тело нашло ритм без объяснений. Просто нашло.

— Не дрожишь, — сказал седой. — Хорошо.

Дрожала, едва не сказала она вслух. Руки дрожали первые тридцать секунд — мелко, почти незаметно. Он не увидел. Или увидел и решил не видеть. Она промолчала тоже. Их общий выбор — оставить это между ними.

Развели костёр прямо в лесу. Круговая застольная — обязательная, короткая чарка по кругу. Дым смешался с запахом мокрой листвы, крови и хлеба — кто-то достал буханку, тёмную, разломил руками над огнём. Не нарезал. Разломил. Здесь это было важно. Кто-то уже нанизывал мясо на прутья — ловко, без слов, как делают сотый раз. Просто жарили над огнём, без церемоний. Это не шашлык — это охота.

Седой разлил. Чарки нагрелись от рук.

— За добычу. За кровь, что землю кормит. За то, чтобы лоза наша не кончилась. И за тебя, москвичка — если не сломаешься.

Она выпила. Вино смешалось с привкусом крови на пальцах. Держала два вкуса сразу — не стала их разделять.

Огонь трещал. Дым шёл прямо вверх — ветра не было.

Птицы замолчали. Только костёр и негромкие голоса. Просто люди у огня — без давления, без позиций. Тоже форма доверия. Маленькая, первая.

Думала про того, кто заложил это вино, когда один из этих людей был ещё ребёнком. Просто поставил бочку — и ушёл. Без гарантий, без расписания. Доверил время времени. Для этого не было слова в её профессиональном словаре. И ни в каком другом тоже.

— Чьё вино? — спросила она у седого.

— Матвея Воронина. — Седой кивнул куда-то в сторону холма. — Единственный здесь, кто выдерживает по-настоящему. Остальные — молодое пьют. А у него — три года минимум, пять лучше.

— И он не продаёт?

— Он не делает для продажи. — Седой посмотрел на неё. — Он делает, потому что иначе не умеет.

Она выпила. Думала про это выражение — винодел как призвание, а не профессия. Бывают люди, которые делают что-то не потому, что выгодно, а потому что не могут иначе. Она таких уважала и не понимала одновременно. Ей всегда был нужен результат. Измеримый. В гектарах, в процентах, в сроках.

Вино в чарке было результатом пяти лет чьего-то терпения.

Она это чувствовала. Прямо на языке.

— Хорошее? — спросил седой.

— Да. — Правда без оговорок.

Потом дали выстрел.

Кабан вышел сам — крупный, метров в тридцати, встал как будто сам решил. Лайки залились резко. Седой кивнул:

— Твой.

Она вскинула карабин. В последнюю секунду поняла, что стоит не совсем правильно — но менять стойку уже поздно. Выстрел. Приклад ударил в плечо сильнее, чем рассчитывала. Зверь пошатнулся. Упал.

Плечо горело. Она опустила оружие.

Седой подошёл и хлопнул по тому же плечу — тяжело, по-мужски, как хлопают своих. Она не поморщилась. Это потребовало усилия. Небольшого.

— Стреляешь хорошо. Глаза внимательные. А внутри — огонь.

Огонь. Инвестор — «ты зверь». Седой — «огонь». Они оба видели что-то, что она давно убрала в папку и закрыла. Что-то, что, судя по всему, не закрылось — просто лежало тихо и ждало, пока кто-то назовёт его снаружи.

Она смотрела на зверя. На шкуру — тёмную, жёсткую. Снаружи — одно. Внутри — другое. Та мысль вернулась — которую убирала над тушей.

На этот раз не убрала. Оставила.

Возвращались в сумерках. Закат слоями — оранжевый, алый, золотой по горизонту, который держался дольше, чем казалось возможным. Виноградники в этом свете были мяг-

кими, почти нереальными.

Она смотрела на них и ни о чём не думала. Просто смотрела.

Кровь засохла на руках коркой. Плечо ныло. Запах костра и дыма в волосах. Всё это было в ней — телесно, настоящее, без дистанции.

У гостиницы вышла из машины. Постояла. Небо над станцией — тёмное, густое от звёзд, без городского зарева. Близкое.

Не хотела заходить внутрь. Не хотела в белый потолок и кондиционер.

Постояла ещё.

Потом зашла. Но медленно.

Глава 7. Поджог

Ночью было душно.

Южный воздух ночью не охлаждается — он остывает, но остаётся живым, тёплым, пахнущим. В открытое окно шёл запах виноградника: чуть влажный, чуть терпкий, земля, которая за день напилалась солнцем и теперь медленно его отдавала. Ева лежала поверх одеяла и не спала.

В руке — стакан с остатками казачьего вина. Забрала с охоты. Пила медленно — пока держишь, что-то из того дня ещё длится. Запах костра в волосах. Кровь под ногтями, которую не домыла. Ожог на ладони ныл тихо — не громко, но постоянно. Напоминал.

Телефон светился подтверждениями переводов. Гонорар

успеха.

В три четырнадцать телефон взорвался.

— Ева Андреевна! Горим! Техника! Саженцы! Всё горит!

Она уже бежала.

Тело раньше — ещё в коридоре, ещё в лифте, ещё у машины, майка накинута прямо на ходу. Витёк стоял снаружи — не спал, или вскочил быстрее.

— Поехали.

Он не спросил куда.

Когда вылетели на поле, небо было оранжевым от огня.

Три трактора горели. Пламя жрало покрышки, кабины, штабеля саженцев — те самые, каберне, которые через неделю должны были пойти в землю. Запах горячей резины — едкий, тяжёлый, тот, что оседает в лёгких надолго. Ночь во круг чёрная, огонь в ней огромный — больше себя. Люди у огня метались без системы, кричали, перебивая друг друга. Никто не командовал.

Ева выскочила из машины.

— Воду! К ёмкостям! Живо!

Схватила огнетушитель. Побежала к ближайшему трактору. Пламя лизнуло руку — боль пришла сразу, без нарастания. Просто — боль, острая и чёткая. Она направила струю. Не остановилась.

— Шланг от скважины! Быстрее!

Охранник очнулся. Шланг рванули. Вода ударила холодная, ночная, из-под земли — из той самой земли. Она взяла

конец шланга сама. Майка промокла мгновенно. Вода шла в лицо, в глаза. Она не отворачивалась.

Огонь сопротивлялся. Жрал саженцы. Жрал то, что она уже считала своим — не юридически, по-другому. После трёх дней в этой земле что-то сместилось, и она это знала, и продолжала держать шланг.

Шагнула ближе к огню. Сажа в лицо, в рот — горькая, жёсткая. Руки чёрные по локоть. Ожог на ладони вскрылся, кровь смешалась с сажей. Боль стала громче. Она отметила это — и продолжала.

Через двадцать минут огонь сдался.

Остались чёрные остовы. Дым. Пепел на горелой земле. Воздух горький — каждый вдох першил в горле. Она стояла посреди. Вода стекала с неё ручьями.

Достала телефон мокрыми пальцами. Набрала инвестора.
— Ева? Что случилось?

— Поджог. Техника, саженцы, часть участка. Потушили. Нужна новая техника. Удваиваю охрану.

— Ты в порядке?

Она посмотрела на руку. Ожог свежий, пульсирующий. Кровь и сажа.

— Да.

Отключила.

Стояла. Треск остывающего металла. Далёкий лай собак из станицы — те же, что утром на охоте. Там жизнь продолжалась. Здесь — пепел.

Где-то в темноте за полем были те, кто это сделал. Она знала это так же точно, как знала цифры. С той же уверенностью, без доказательств. И знала, что найдёт их. Это не было вопросом.

Витёк подошёл молча. Протянул воду. Она выпила половину. Остаток вылила на ожог — боль вспыхнула резче, потом чуть отпустила.

— Что с саженцами?

— Треть потеряна. Закажем. Срок сдвигается на две недели.

— Техника?

— Завтра будет другая.

Он кивнул. Не спросил как. Просто принял.

Она смотрела на поле. На пепел. На землю под пеплом — горелую, живую. Земля здесь переживала всё. Пожары, войны, людей, которые приходили и уходили. Земля была старше любого из них.

Небо светлело. Сначала серым, потом розовым. Птицы ещё молчали.

Она чувствовала его рядом — тепло его плеча, его дыхание в морозном воздухе, его руку в своей. Тяжёлую, живую.

Внутри разлился мёд — медленно, как всегда, с ним. Она давно перестала этому удивляться. Просто — так бывает, когда своё рядом.

Земля начинала. Они — тоже. Снова.

Позвонила Артёму. Поставщик техники к восьми. Юрист

по страховым. Да, прямо сейчас.

Убрала телефон. Посмотрела на ожог.

Матвей был прав — без мази будет след. Она ответила ему «переживу». Это по-прежнему было правдой — она умела переживать, это был её навык, отточенный. Переживать и продолжать.

Но вот что: зачем?

Мысль пришла тихо. Маленькая, почти незаметная. Не из профессии — из другого места, которое только начинало говорить.

Она убрала её — привычным движением, в ту же папку.

Мысль легла туда иначе. С объёмом. Как будто папка стала меньше, а содержимое — нет.

Глава 8. Встреча

Матвей Воронин вышел на поле в половине шестого.

В половине шестого земля здесь пахнет иначе, чем в восемь. Прохладой — и чем-то из детства, которое он давно перестал вспоминать специально. Не потому, что больно. Просто незачем. Что было — лежит там, где лежит.

Роса на листьях. Туман у подножия холма — плотный, синий. Он объехал 450 гектаров на тракторе медленно. Смотрел на лозы. Мог остановиться у любой и сказать: эту посадил дед в сорок восьмом, после засухи, когда потеряли половину — посадил назло. Эту — отец в шестьдесят третьем, когда провели воду. Эту он сам, в девяносто третьем, когда земля ещё не решила, чья она теперь. Холодная была та вес-

на. Лоза не хотела. Он настоял.

Записал в блокнот: восточный склон, просела шпалера. Бумажный, с потёртой обложкой. Телефонные заметки он не доверял — рука помнит иначе, чем экран.

Потом остановил трактор и просто сидел.

Два года сюда ходили люди с деньгами и правильными словами. Смотрели на гектары, на потенциал, на то, чем это может стать. Никто не смотрел на то, что это уже есть. Он не спорил. Говорить с людьми, которые видят потенциал там, где ты видишь жизнь — себе дороже.

Шаги он услышал раньше, чем увидел.

Женщина шла по краю поля — не той дорогой, которой ходят знающие место, а напрямую, через мокрую траву. Джинсы старые, майка, надетая в спешке, одно плечо чуть сдвинуто. Пахла дымом — даже за несколько метров. На правой ладони что-то замотанное, тёмное насквозь.

Шла так, как ходят, когда устали, но остановиться не входит в понятие о себе.

Он не окликнул. Подождал.

Она остановилась у старых бочек под навесом. Провела пальцем по одной — там, где выжжено «В.В. 1947». Медленно. Как трогают чужое — с осторожностью людей, которые что-то чувствуют, но ещё не знают, что именно.

— Что здесь? — спросила она, когда он подошёл.

— Вино деда. — Он остановился рядом. — Он заложил в сорок восьмом. После засухи — потеряли половину урожая,

но то, что осталось, поставил в бочку. Говорил: плохой год даёт лучшее вино. Лоза в трудный год отдаёт всё что есть. Некуда беречь.

Ева смотрела на бочку. На год. Кто-то в сорок восьмом — после войны, после засухи, когда, казалось, не до вина — взял и поставил. Просто поставил.

— Оно ещё живое?

— Не знаю. — Он сказал это просто. — Не открывал. Может, укус уже. Может, что-то невозможное. Узнаю, когда придёт время.

— Как ты поймёшь когда?

Он посмотрел на неё.

— Пойму.

Она не спросила, как именно. Поняла, что этот ответ не переводится на язык дедлайнов и показателей. Он просто — пойму. И это было исчерпывающе.

Потом подняла голову.

Он слез с трактора. Вытер руки о штаны. Пошёл к ней. Без рубашки — в мае он никогда в рубашке не работал. Шрамы на груди и руках — несколько, разные по возрасту. Не от несчастных случаев.

— Значит, ты и есть та самая москвичка.

— А ты — тот, кто два года не даёт купить эти 450 гектаров.

— Не даю. Все, кто приходил — приходили взять. Ты зачем пришла?

Не тот вопрос, которого она ожидала. «Сколько предлагаешь» или «уходи» — те она знала. Этот предполагал, что за контрактом стоит что-то ещё. Что у неё есть ответ настоящий, отдельный от цифр.

— Исполнить контракт. Эти 450 — ключевые.

— Знаю. И всё равно спрашиваю.

Она умела различать — человека, который спрашивает, чтобы поймать, и человека, который спрашивает, чтобы понять. Это разные вещи с одинаковыми словами. Здесь было второе.

— Хочу, чтобы эта земля работала. Не гнила как невостребованный актив.

— Она не гниёт. Я за ней смотрю.

— Смотришь. Но одному долго не удержать.

Он не ответил. Повернулся к винограднику. Долго смотрел — не как человек, который думает, что ответить. Как человек, который смотрит на то, что любит. Просто смотрит. Без слов.

— Ты вчера тушила пожар.

Не вопрос.

— Да.

Посмотрел на её ладонь. На замотанную руку — бинт, уже тёмный, пропитавшийся.

— Почему не забинтовала нормально?

— Некогда было.

— Ерунда.

Она замолчала. Он был прав — и именно это она не хотела произносить вслух. Не некогда. Что-то в ней хотело, чтобы ожог был виден. Не убранным, не аккуратным. Пусть будет. Пусть видно, что она там была.

— Протяни руку.

— Зачем?

— Протяни.

Она протянула.

Тело раньше — она заметила это уже после, когда рука была уже у него. Не успела придумать причину не делать этого.

Он взял её ладонь двумя руками — осторожно, как берут то, что может болеть. Перевернул. Посмотрел со стороны запястья. Пальцы тёплые и сухие — руки человека, который работает ими и давно к этому привык, у которого в руках есть знание, которого нет в словах.

— Надо мазь. Без мази будет след.

— Переживу.

— Переживёшь. Но зачем?

Снова это — зачем. Ночью у пепла та же мысль пришла сама. Зачем переживать, если можно не переживать. Теперь от него — и легло точно в то же место.

Он отпустил руку. Не отступил. Смотрел на неё прямо — без того, что она умела чувствовать в мужских взглядах ещё до того, как успевала осознать. Без оценки. Без расчёта. Просто смотрел на человека.

Она не знала, что с этим делать.

Это было неожиданным открытием — не знать, что делать со взглядом.

— Приедешь вечером? Поговорим про землю нормально. Не здесь, не стоя.

Два голоса одновременно. Один говорил: переговоры на нейтральной территории, это правило, оно существует, потому что работает. Второй ничего не говорил. Просто — да.

— Во сколько?

— В восемь. — Кивнул в сторону холма. — Вино открою. Взял блокнот. Пошёл к трактору. Обернулся у машины.

— Ожог намажь. Это не геройство — это глупость.

Она смотрела, как он уходит. Широкая спина, шрамы, которые она уже знала по расположению — хотя никогда не спрашивала. Походка человека, которому незачем торопиться на собственной земле.

Потом посмотрела на свою ладонь.

Она ещё держала её так, как он держал — развёрнутой, открытой. Заметила. Не опустила сразу. Подержала ещё секунду. Почувствовала воздух там, где только что были его руки.

Потом опустила.

Написала Артёму: «Переговоры по второму участку — завтра. Сегодня вечером занята».

Три вопросительных знака в ответ.

Убрала телефон. Шла к машине и думала про его вопрос

— первый, не про ожог. Ты зачем пришла.

Она ответила про контракт. Это была правда — но не вся. Настоящий ответ был чуть другим, чуть глубже, в том месте, которое она обычно не трогала. Она его не произнесла — ещё не знала, как он звучит.

Пробел там, где должно быть слово.

Раньше не беспокоило.

Теперь — чуть-чуть. Но беспокоило.

Глава 9. Веранда

В гостинице она долго стояла перед рюкзаком.

Деловые рубашки. Льняные брюки. Джинсы. Кроссовки. Всё правильное, всё нужное — всё то, с чем она приехала. И на самом дне, завёрнутое в футболку — платье.

Она достала его.

Тигровый принт, узкое, с открытой спиной, на тонких бретелях. Купила два года назад — зашла случайно между встречами, вышла с платьем. На работу никогда не надевала. Надевала, когда хотела напомнить себе, что под офисной рубашкой есть что-то, что рубашкой не становится. Что под правильным — есть шкура.

Сегодня решила, что это не работа.

Невысокий каблук. Волосы распустила — голова болела под шпильками весь день, вытащила их ещё в машине. Получилось само.

Встала перед зеркалом.

Загар уже лёг — за неделю, пока работала на солнце. Не

городской, не равномерный. Настоящий — неровный, с белой полосой там, где была рубашка. Руки темнее лица. Ожог на ладони стал чуть светлее — намазала наконец, как он сказал. Зачем переживать, если можно не переживать.

Она смотрела на себя.

И вдруг увидела — не то, что обычно видела в зеркале. Не деловую женщину, не профессионала, не ту которая держит форму и говорит правильно и занимает ровно столько пространства, сколько прилично. Что-то другое. Что-то, что было в ней до всего этого — и никуда не делось. Просто ждало.

Загар. Распущенные волосы. Платье с тигровым принтом.

Она была похожа на себя.

На ту себя, которую помнила смутно — из детства, из юности, до Москвы. Ту, которая бежала босиком и не извинялась за это. Которая спорила громко и занимала пространство — не потому что хотела кого-то подавить, а просто потому, что в ней было много и оно выходило само.

Дракон, подумала она.

Вот ты где.

Тигровый принт на платье — это была не случайность. Она купила его именно поэтому, хотя тогда не называла это так. Просто почувствовала — это моё. Это про меня. Не про ту меня которая ходит на переговоры. Про ту, которая есть на самом деле.

Под правильным — шкура. Под шкурой — огонь.

Двадцать лет она носила огонь в себе — тихо, свёрнуто,

послушно. Учила его не вырваться. Учила занимать меньше места. Учила быть удобным, предсказуемым, безопасным.

А здесь — на этом солнце, в этой земле, среди этих людей, которые сами из огня — он начинал разворачиваться. Медленно, осторожно, с той осторожностью с которой разворачивается то, что долго было сжато. Но — разворачивался.

Загар лёг сам. Волосы распустились сами. Платье само достала из рюкзака.

Тело знало, что делает. Тело возвращалось.

Она смотрела на себя ещё секунду — на эту женщину в зеркале, тёмную от солнца, с огнём в глазах которой она привыкла прятать. Потом что-то в ней решило: пусть. Сегодня — пусть. Просто посмотреть. Просто побыть такой.

Называть это не стала. Некоторые вещи лучше не трогать раньше времени.

Взяла ключи. Вышла.

Жара к восьми не ушла — здесь она никогда не уходила, только меняла температуру. Тридцать восемь превращалось в тридцать три, и это воспринималось как прохлада. Кожа уже привыкла — за неделю. Первые дни каждый выход был усилием. Теперь — просто тепло. Тепло, которое касается открытых плеч и остаётся там.

Пока шла по двору, остановилась.

Виноградник в закатном свете — длинные ряды лоз, тени от них густые и длинные. Золото и темнота вперемешку.

Небо за холмом горело — мягко, изнутри, как будто там что-то живое. Она стояла и смотрела. Секунду. Может, дольше. Ноги остановились сами — она не стала с этим спорить.

Потом пошла дальше.

Матвей стоял на веранде, облокотившись на перила. Смотрел, как она идёт по двору — молча, без нетерпения, как будто у него было сколько угодно времени. Она заметила это издали. Что он просто стоит и смотрит. Без того скрытого напряжения, которое бывает у людей, когда ждут и хотят это скрыть.

— Хорошо пахнет, — сказала она, поднимаясь на ступени.

Запах шёл с кухни — мясо, чеснок, травы, что-то долгое.

— С утра стоит. Заходи.

Стол без претензий — деревянный, с масляной лампой посередине. Два стакана, хлеб, миска с брынзой и зеленью. Банка с огурцами — солёными, тёмно-зелёными, с укропными зонтиками внутри — стояла в центре как что-то само собой разумеющееся. На юге без этого стола не бывает. На краю подоконника несколько диких цветов в банке из-под консервов. Без замысла украсить. Просто были — поставил.

Она села. Взяла стакан. Посмотрела на виноградник — отсюда он уходил вниз по склону, в сумерках уже почти синий, с золотым отсветом неба.

— Красиво, — сказала она. Про виноградник.

Он посмотрел на неё.

— Да. — Не про виноградник.

Она подняла взгляд. Поняла. Что-то внутри коротко и тепло отозвалось — она не стала этому давать имя. Отпила вино. Не ответила. Слова, которые были бы точными, не нашлись — а неточные здесь не подходили. Она это уже понимала: здесь говорят точно или молчат.

Вино было мягким — не то, что на круговой застойной. Без намеренной терпкости, без желанья что-то доказать. Сделано для того, чтобы пить вечером, когда торопиться некуда.

— Откуда?

— Из погреба. Своё. Три года назад.

— Хорошее.

— Знаю.

Она усмехнулась. Он не скромничал и не хвастался. Говорил, как есть. Это было редкостью — она только сейчас начала замечать это как редкость.

Говорили про землю.

Четыреста пятьдесят гектаров. Двадцать восемь сверху. Долги по воде, субсидиям. Тридцать два гектара навсегда. Старые лозы на южном склоне — пять лет без вмешательства.

Потом он спросил:

— Почему тридцать два?

— Потолок по контракту.

— Нет. Почему именно тридцать два.

Она поняла: он спрашивает у себя. Уже принял. Хочет знать, откуда число — из какого места внутри оно пришло.

— Столько мне было лет, когда я закрыл первую большую бочку. Не считал специально. Раз совпало — значит, правильно.

Совершенно нерабочий аргумент. Именно поэтому он остановил её — человек, который так говорит, уже не в переговорах. Уже в другом месте, где решения принимаются иначе.

Виноградник темнел. Лампа гудела тихо. Мотыльки шли на свет — крупные, южные, без страха. Тишина между ними стала другой — не рабочей, не паузами между вопросами и ответами. Той, когда двум людям не нужно заполнять пространство, чтобы оно не было пустым.

— Ты давно один?

— Двенадцать лет. Жена ушла. Говорила — ты любишь землю больше, чем людей. — Пауза. — Может, была права.

Без горечи и без показной беспечности. Просто факт, с которым давно живёт. Который перестал болеть при каждом касании.

— Дети?

— Сын. В Ростове. Созваниваемся.

— А ты?

— Я никогда не была достаточно долго в одном месте, чтобы что-то успело вырасти.

Она сказала это привычно — формулировкой, которую

произносила уже несколько раз. Потом услышала её иначе. Не оправдание, не жалоба. Диагноз. Она жила так, как будто не имела права оставаться. Как будто оставаться нужно отдельно заслужить — сдать какой-то экзамен, который никто не назначал, но который она всё время сдавала.

Он не стал это комментировать.

Она была благодарна. По-настоящему.

Он принёс еду — хлеб разломил руками над столом, крупными кусками. Помидоры из огорода, тёмно-красные, горячие ещё от дня, посыпанные солью прямо в руках. Малосольные огурцы — из кастрюли на краю плиты, пахнущие укропом и чесноком, ещё чуть хрустящие. Потом мясо — то, что томилось с утра. Тёмное, мягкое, с запахом трав и чеснока. Поставил в глиняной миске без слова. Из погреба принёс банку — солёные огурцы, помидоры, что-то с перцем и чесноком. Просто поставил рядом. Здесь это не украшение стола — это стол.

— Руками. Здесь нет ресторанных правил.

Она посмотрела на него.

— Так вкуснее. Просто попробуй.

Убрала нож, к которому уже тянулась рука. Взяла кусок. Горячее, сок сразу по пальцам.

Было неловко. Не потому, что неприлично — непривычно. Двадцать лет Москвы выучили её правилам, которые тело уже считало своими. Правильная дистанция между собой и едой. Между собой и людьми. Между собой и тем, что хо-

чется — чтобы ничего не текло, чтобы всегда был посредник.

Здесь дистанции не было. Мясо, руки, вкус — прямо.

Она ела. Сначала медленно. Потом быстрее. Что-то возвращалось — не из прошлого, а из-под прошлого. Глубже. Из места, которое было в ней до всего, чторосло сверху.

— Жжёт, — сказала она.

— Знаю, — ответил он. Налил ещё.

Уходила около одиннадцати. Он проводил до ворот — молча, просто шёл рядом.

— Завтра в десять. Официально, с нотариусом.

— В десять.

Она уже шла к машине, когда он сказал вслед:

— Намазала ожог?

— Намазала.

— Хорошо.

Просто хотел знать. Без игры.

Она села в машину. Минуту сидела, не заводя. Смотрела на огонёк лампы на веранде — жёлтый, тихий, виден через деревья. Мотыльки всё ещё кружились.

Смотрела дольше, чем нужно. Заметила это. Не отвернулась.

Потом завела. Поехала.

Руки пахли чесноком и дымом. Она не стала мыть их в машине. Пусть этот вечер ещё немного длится — в запахе, в темноте за окном, в том тёплом ощущении, которое она не

называла.

И в зеркале заднего вида — мелькнул огонёк его веранды. Маленький, жёлтый. Потом пропал за поворотом.

Дракон внутри неё — впервые за очень долгое время — не свернулся. Просто лежал. Тихо. Тепло.

Дышал.

Зимой дни короткие.

Он привык — это не было новостью. Встаёшь в темноте, ложишься в темноте, между ними — четыре часа серого света и работа которой зимой немного. Обрезка в феврале, кое-что по хозяйству, ремонт что накопилось.

В этот день он чинил насос. Потом пил чай. Потом шёл к роднику.

Родник не замёрз — он никогда не замерзал, слишком глубоко откуда шла вода. Матвей сел на камень. Слушал.

Вода. Птица. Тишина.

Он думал про неё не постоянно — это было бы неправдой. Работал, делал своё, жил как жил. Но иногда — да. Утром, когда варил кофе и ставил две кружки по привычке и ловил себя на этом. Вечером, когда садился на веранду и место рядом было пустым, но ощущалось не так, как раньше — не просто пустым, а ожидающим.

Это была разница.

Раньше пустое место было просто пустым. Теперь — временно пустым.

Он не строил планов. Не знал когда она приедет, надолго ли, что будет дальше. Эти вопросы существовали — он не закрывал на них глаза. Просто не торопил. Как не торопят вино, которое ещё не готово.

Она приедет. Это он знал.

Не потому, что она сказала — хотя она сказала. А потому что видел её. Три месяца рядом — этого достаточно чтобы понять человека, который держит слово.

Она держала.

Родник тихо нёс свою воду. Матвей сидел и смотрел.

Думал про то, что она скажет, когда приедет зимой — про лозы без листьев, про серое небо, про то какой здесь другой свет в декабре. Она заметит. Она всё замечала.

Это в ней он любил особенно — что замечала. Не все замечают. Большинство смотрят и не видят. Она смотрела и видела.

С такими людьми не скучно даже в тишине.

Он встал. Пошёл обратно.

Дома — тепло, чайник, вечер. Короткий день закончился. Завтра будет такой же. И послезавтра.

А потом — она приедет.

Она проснулась в пять. За окном ещё темно — осенью рассвет позже.

Встала тихо. Он спал. Взяла его куртку — ту которую он сказал оставить себе, она привезла обратно, она теперь ви-

села здесь. Надела. Вышла.

Двор в темноте — знакомый. Она не спотыкалась, знала где ступени, где камень у забора. Прошла к виноградному ряду.

Стояла и ждала.

Потом услышала его шаги. Обернулась.

Он стоял в дверях — смотрел на неё. На то как она стоит в его куртке, в предрассветном сером, лицом к востоку. Что-то в его взгляде было — не нежность и не желание отдельно. Всё вместе. Одним.

Она почувствовала этот взгляд физически — как чувствуют тепло. Внутри разлилось что-то — тихое, густое, своё.

Небо на востоке начинало — едва, почти незаметно. Сначала просто тьма стала чуть менее тёмной. Потом — серое. Потом полоса, розоватая, тонкая, у самого горизонта.

Она стояла и смотрела.

Первый раз она видела здешний рассвет случайно — тот первый день, когда он уже стоял у перил и виноградник окрашивался розовым. Она тогда не понимала ещё что это её место. Просто смотрела.

Сейчас стояла и знала — её.

Не в смысле собственности. В смысле что знакомое. Что принято. Что если закрыть глаза — представишь именно это, не другое.

Лозы в рассветном свете — другие чем летом. Голые, тёмные, с тем достоинством, которое бывает у старых вещей,

переживших своё время и не ставших от этого хуже. Просто другие. Зимние.

Она думала про лозу. Про то что зимой она выглядит мёртвой — и не мёртвая. Держит всё что нужно внутри, под корой, глубоко. Ждёт. Знает, что весна будет.

Небо становилось светлее. Первая птица — где-то за забором. Потом ещё.

Она стояла пока солнце не показалось над холмом — полностью, яркое, осеннее, без летней мягкости. Резкое, чёткое. Другое время года — другой свет.

Потом пошла в дом. Поставила чайник. Села ждать, когда он проснётся.

Это тоже было — своё.

Это было поздно — она лежала, он уже спал, за окном тишина и звёзды.

Она думала про слова.

Катя сказала — влюбилась. Она не отрицала. Просто это слово казалось ей не совсем точным. Влюбиться — это про начало, про то когда ещё не знаешь. Она знала уже. Это было что-то другое. Что-то дальше влюблённости.

Она перебирала слова.

Любовь. Тоже не то — не потому, что неправда, а потому что слишком большое и слишком использованное. Это слово носили везде, в рекламе и в песнях, и в ссорах. Оно потёрлось.

Привязанность. Слишком холодное.

Близость. Ближе. Но тоже не всё.

Она думала о том, как он спит рядом — ровно, полностью, доверяя темноте. Про то как он держит отцовский инструмент. Про его руку на её руке на той веранде тем вечером. Про родник под склоном.

Ни одно слово не накрывало это всё.

Она подумала: может не нужно слов. Может некоторые вещи живут до того, как получают имя — и живут лучше без него. Называние — это тоже форма присвоения. Ты называешь — и оно становится тем, что ты назвал. Теряет что-то своё.

Это между ними — было своим. Обоих. Не её одной, не его.

Называть — значит объявить. А они не объявляли. Они просто — были. И это оказалось возможным. Просто быть, не называя.

Она не нашла слова.

Зато нашла покой.

Легла поудобнее. Слушала его дыхание.

Снаружи — виноградник, звёзды, земля.

Внутри — то, что не нуждалось в имени.

Этого было достаточно.

Это было на второй неделе — она уже не считала дни точно, только приблизительно, что само по себе было странно

для неё.

Ужин закончился давно. Посуда убрана. Он принёс вино — не из погреба, простое, домашнее, в глиняном кувшине. Налил два стакана. Сел напротив.

Они не говорили ни о чём важном.

Он рассказывал про соседа — Игорь Семёнович, семьдесят два года, каждую осень собирает кизил и варит варенье, которое никто не ест, но он варит. Традиция. Жена умерла восемь лет назад — она варила, он продолжает.

Она слушала. Не анализировала. Просто слушала.

— Ты с ним дружишь? — спросила она.

— Не дружим. Соседи. Он мне помогает, когда трактор ломается — знает технику лучше меня. Я ему помогаю, когда тяжело поднять. Мы не разговариваем особо.

— Но ты знаешь про варенье.

— Все знают про варенье. — Он усмехнулся. — Он каждый год предлагает. Все каждый год отказываются вежливо.

— Ты берёшь?

— Беру. Оно нормальное варенье.

Она улыбнулась. Подумала про Москву — там она не знала имён соседей. Четыре года в одном доме. Видела в лифте, кивала. Не знала ни про какое варенье.

— Ты всегда здесь жил? — спросила она. — Кроме армии.

— С восьми лет. До этого — Ростов, родители. Потом отец умер, мать сюда переехала — к своим. Я с ней.

— Ты не хотел обратно в город?

Он подумал.

— Хотел в какой-то момент. Лет в семнадцать. Казалось, что там всё происходит, а здесь ничего. — Он посмотрел на кувшин. — Потом понял, что там происходит много, но не то.

— Что не то?

— Там происходит с людьми то, что они хотят, чтобы происходило. Или думают что хотят. — Он налил ещё. — Здесь происходит то, что должно.

Она держала стакан. Вино было тёплым, чуть терпким — не ресторанное, не выверенное. Просто вино из этой земли этого года.

— Ты философ, — сказала она.

— Нет. — Он сказал это без обиды. — Я просто долго смотрел на одно место. Когда долго смотришь — начинаешь видеть.

Он говорил — и машинально поглаживал её руку, которая лежала рядом на столе. Не замечал, что делает. Она заметила. Не убрала руку — и почувствовала, как что-то внутри выдохнуло. Как будто так было всегда. Как будто именно этого и не хватало — не ему, а ей самой.

Она думала про это. Про то что она всю жизнь смотрела на разные места — быстро, в движении, чтобы оценить и принять решение. Это был её навык. Она умела читать место за несколько дней — активы, риски, потенциал. Но долго — никогда. Долго было неэффективно.

— Я никогда не жила в одном месте дольше трёх лет, — сказала она.

— Знаю.

— Откуда?

— Ты рассказывала. — Он смотрел на неё. — Ты часто рассказываешь не замечая.

Это было правдой. Она замечала это за собой последние дни — говорила больше чем обычно. Не отчёты, не переговоры — просто говорила. Про Москву, про сделки, которые не шли, про один объект в Перми, где она просидела зиму и едва не потеряла деньги, но не потеряла и до сих пор считает это лучшей зимой в жизни.

Он слушал. Не перебивал. Не советовал. Просто был рядом и слушал — с тем вниманием, которое бывает у людей, привыкших к тишине, для которых чужие слова — не фон, а что-то настоящее.

— У меня есть вопрос, — сказала она.

— Спрашивай.

— Когда ты в последний раз думал про выход?

Он не понял сразу.

— Из чего?

— Из ситуации. Из разговора. Из места. — Она чуть помолчала. — Я работаю с активами. Первое что я делаю на любом объекте — смотрю, где выход. Как выйти если не пойдёт. Это рефлекс. Я захожу в любое место и первые десять минут — ищу выход.

Он ждал.

— Я поняла сегодня вечером, — сказала она, — что три недели не искала выход. Ни разу. Я здесь — и не думала, как отсюда уйти.

Он смотрел на неё. В желтоватом свете лампы его лицо было спокойным — не удивлённым, не тронутым, просто — принимающим.

— Это хорошо или плохо? — спросил он наконец.

— Не знаю, — сказала она честно. — Для меня это непривычно. Непривычное я обычно не доверяю.

— А сейчас?

Она посмотрела на него. На лампу. На кувшин с вином. На темноту за перилами, где был виноградник — невидимый сейчас, но она знала, что он там, лоза помнит, земля помнит, вино в стакане помнит.

— Сейчас — не знаю, — повторила она. — Но не уйду.

Он кивнул. Один раз. Этого было достаточно.

Они сидели ещё долго. Кувшин опустел. Лампа начала коптить — он встал поправить, вернулся. Говорили ещё — про Игоря Семёновича, про кизиловое варенье, про то, что следующей весной надо будет переложить часть дренажа на нижнем участке.

Обычные слова. Ничего важного.

Самые важные вещи в этом разговоре уже были сказаны — и оба это знали, и ни один не стал возвращаться.

Иногда достаточно один раз.

Это было на третьей неделе — она вышла из душа, посмотрела в зеркало и остановилась.

Не потому, что что-то было не так. Наоборот.

Загар лёг ровно — не пляжный, рабочий, от ходьбы по полю и долгих разговоров на веранде. Руки темнее чем лицо. Волосы выгорели чуть — она этого не планировала. Под глазами не было того городского напряжения, которое она перестала замечать, потому что оно стало постоянным.

Она смотрела на себя.

Она вспомнила как смотрела в зеркало раньше — быстро, деловито, как проверяют инструмент перед работой. Всё на месте, можно идти. Она жила так двадцать лет — и не знала, что чего-то не хватает. Пока не остановилась достаточно долго чтобы заметить.

Сейчас она просто смотрела.

Лицо было то же и не то же. Те же черты, тот же нос, те же глаза, которые она видела сорок лет. Но в них было что-то другое — не усталость ушла, не счастье появилось. Что-то более тихое. Как будто она выдохнула и не стала снова набирать воздух из всех сил.

Она подумала: вот так я выгляжу, когда не тороплюсь.

Это было новое знание. Небольшое, но настоящее.

Она провела пальцем по скуле — там, где загар лёг плотнее. Подумала про Москву, про то, как там она знала своё отражение наизусть. Про то что здесь оно стало чуть незна-

комым — в хорошем смысле. Как незнакомым бывает город, который ты знаешь, но прошёл по нему другой дорогой.

Та же она. Другой маршрут.

Она улыбнулась своему отражению. Просто так, без причины.

Потом оделась и вышла.

Он звал её по-разному — иногда просто «Ева», иногда никак, просто подходил. Но иногда — она не могла объяснить, когда именно — он произносил её имя так, что она останавливалась.

Не громче. Не мягче. Просто — иначе. Как будто имя было не словом а чем-то тактильным. Она слышала в нём что-то — тяжёлое, тёплое, намеренное.

Однажды она мыла руки на кухне, спиной к нему. Он сказал — «Ева» — вот так, просто, ни к чему. Она обернулась. Он смотрел на неё — спокойно, с той полнотой, которая бывает у людей, которым не надо ничего доказывать.

— Что? — спросила она.

Он не ответил сразу. Потом:

— Захотела.

Она стояла и чувствовала, как мёд разливается — медленно, от имени вниз, по всему телу. Просто так. Он сказал её имя просто так — и этого было достаточно чтобы внутри стало теплее.

Она поняла, что привыкла к этому. Что ждёт этого — ино-

гда. Как ждут, когда земля начинает отдавать тепло к вечеру.

Она не говорила ему об этом. Зачем — он знал.

Иногда она произносила его имя первой — просто так, без причины. Проверяла. Как звучит. Как ложится. «Матвей» — в нём было что-то твёрдое и тёплое одновременно, как дерево на солнце.

Он откликался. Всегда — сразу. Не торопясь, но сразу.

Это тоже было — своё.

Два часа ночи. Она лежала и слушала.

Москва так не молчит. В Москве всегда что-то — машины внизу, лифт, соседи за стеной, фоновый гул города, который не выключается никогда. Она привыкла к этому настолько что перестала замечать. Тишина в Москве — это когда немного тише. Не настоящая тишина.

Здесь — настоящая.

Цикады замолчали час назад. Собака Игоря Семёновича не лаяла. Ветра не было. За окном — виноградник в абсолютной темноте, небо с крупными звёздами, и больше ничего.

Она лежала и слушала это ничего.

Рядом — он. Дышал ровно, глубоко, давно спал. Она смотрела в потолок.

Не тревожилась. Это было странно — она привыкла что бессонница означает тревогу. Незакрытый вопрос, несделанный звонок, сделка, которая не идёт. Голова начинает пере-

бирать — что не так, что упустила, что надо сделать утром. Это был её тип бессонницы, рабочий, привычный.

Сейчас — не было ничего такого. Голова была тихой. Просто не спалось.

Она думала про тишину. Про то что в ней можно находиться. Что она не пустая — она живая, наполненная чем-то очень медленным. Дыханием земли, ростом лозы, тем как ночь переходит в рассвет настолько постепенно что момент перехода невозможно поймать.

В Москве она не умела просто лежать. Если не спалось — вставала, открывала ноутбук, читала, делала что-то. Горизонтальное бездействие было непродуктивным. Здесь — лежала и не делала ничего, и это было нормально.

Она подумала: когда это стало нормальным. Точного момента не было. Просто — стало.

Он что-то сказал во сне — неразборчиво, одно слово. Повернулся. Снова ровное дыхание.

Она смотрела на него в темноте. На то как он спит — так же, как делает всё остальное. Полностью, без остатка, не держась за поверхность.

Она тихо встала. Вышла на веранду.

Небо было огромным. Звёзды — низко, будто ближе, чем должны быть. Воздух ночной — прохладнее чем днём, с запахом земли и чего-то цветущего в темноте.

Она постояла. Потом вернулась. Легла.

Закрыла глаза.

Тишина была на месте. Она была частью её теперь — или она стала частью тишины. Одно из двух. Оба варианта были хорошими.

Она заснула.

Это случилось на второй неделе — она шла с участка, то-ропилась, надо было дочитать документы до вечера.

Остановилась.

Небо над виноградником горело. Не метафора — именно горело, оранжево-красное, с тёмными полосами там, где облака, и лозы на его фоне — чёрные, чёткие, как вырезанные. Солнце уходило за холм медленно, нехотя, и каждую минуту цвет менялся — оранжевый в красный, красный в фиолетовый, фиолетовый в тёмно-синее.

Она стояла и смотрела.

Документы подождут. Эта мысль пришла сама — без усилия, без того внутреннего спора, который обычно сопровождал любое отступление от плана. Просто — подождут.

Она не слышала, как он подошёл. Просто почувствовала — он рядом, за спиной, близко. Не касается. Просто стоит.

Потом его рука легла на талию — одним движением, уверенно, как кладут руку на то, что своё. Он смотрел на закат вместе с ней. Молчал.

Внутри неё разлилось что-то тёплое — медленно, от его ладони во все стороны. Она не пошевелилась. Боялась — если пошевелится, уберёт.

Он не убрал.

Она не помнила, когда последний раз смотрела на закат. Не мимоходом из окна машины, не как фон для телефонного звонка — а вот так. Стоя, никуда не торопясь, просто смотрела.

Она стояла и чувствовала, как что-то сжимается — не больно, а узнаваемо. Как будто всё это время внутри была тихая тоска поэтому — по целому небу, по горизонту без обреза. Она не знала, что скучала. Пока не увидела.

Она подумала: я разучилась видеть красивое просто так. Раньше — умела. В детстве точно умела. Потом появилась цель и красивое стало либо фоном, либо наградой за что-то. Красивый закат как поощрение за хороший день. Красивый вид из окна как аргумент в пользу дорогой квартиры.

Здесь закат был просто закатом. Не за что-то. Не для чего-то.

Небо темнело. Первые звёзды — одна, потом ещё. Виноградник растворялся в темноте, оставались только силуэты.

Она стояла пока не стало совсем темно. Потом пошла в дом.

Документы прочитала при лампе. Потеряла двадцать минут.

Не пожалела ни секунды.

Он пришёл без предупреждения — как здесь бывает. Небо затянулось за полчаса, потемнело, и в три минуты чет-

вёртого хлынуло.

Она была в дальнем конце виноградника с планшетом — смотрела на нижний участок. Он был там же, чуть дальше, проверял шпалеры.

Они оба не успели дойти до дома.

Добежали до старого навеса у северного края — деревянный, крытый железом, держался на четырёх столбах. Тесновато для двоих, но укрывал.

Стояли. Дождь шёл плотно — крупный, тёплый, южный. Барабанил по железу над головой громко, почти оглушительно. За навесом — стена воды, виноградник сквозь неё едва виден.

Она была мокрая — платье прилипло, волосы. Он тоже — рубашка насквозь. Они стояли близко — навес маленький, не разойтись.

Она смотрела на дождь.

Он смотрел туда же.

Не говорили — невозможно было толком говорить, дождь перекрывал всё. Просто стояли. Его плечо рядом с её плечом. Запах мокрой земли, мокрого дерева, мокрой рубашки. Она чувствовала его тепло через намокшую ткань — и это тепло шло куда-то глубже чем просто тепло. Он стоял близко. Очень близко. Она не отодвигалась.

Она подумала — когда последний раз она стояла вот так. Никуда не торопясь, не под крышей дома, не в машине — просто в случайном укрытии, потому что дождь застал. В

Москве она бы уже вызвала такси. Здесь — некуда вызывать. Просто надо стоять и ждать.

Оказалось — это нормально. Стоять и ждать, когда перестанет.

Он чуть повернулся. Посмотрел на неё — коротко, с той самой улыбкой, которую она видела редко и каждый раз замечала. Не широкой — просто чуть, в уголках.

— Промокла, — сказал он. Не слышно было толком — по губам скорее.

— Нормально, — ответила она.

Он кивнул. Снова смотрел на дождь.

Она тоже.

Дождь шёл ещё минут двадцать. Они не двигались. Потом стих — резко, как начался. Навес ещё капал, земля блестела, воздух стал другим — тяжёлым, живым, с запахом, который бывает только после дождя на виноградниках.

Она сделала шаг из-под навеса. Подняла лицо.

— Хорошо, — сказала она.

Не ему. Просто вслух.

Она стояла у плиты. Он вошёл — и не прошёл мимо. Обнял сзади — руки вокруг, подбородок на плечо. Просто так. Без слов.

Она почувствовала его — тяжёлого, тёплого, живого — и что-то внутри сразу ответило. То самое что отвечало всегда, когда он был близко. Не с первого раза научилась — это в

ней было, просто ждало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.